

Михаил Александрович
ШОЛОХОВ
1905 – 1984

Михаил
ШОЛОХОВ

Судьба человека



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Ш 78

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

© М. А. Шолохов (наследники), 2019
© Оформление. ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-09472-7

Они сражались за Родину

Главы из романа

Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний ветер.

На дорогах отпотели скованные ночными заморозками лужи талой воды. С хрустом стал оседать в оврагах подмерзший за ночь последний, ноздреватый снег. Кренясь под ветром и низко пластаясь над землей, поплыли в черном небе гонимые на север черные паруса туч, и, опережая их медлительное и величавое движение, со свистом, с тугим звоном рассекая крыльями повлажневший воздух, наполняя его сдержанно-радостным гомоном, устремились к местам вечных гнездовых заждавшиеся на полдороге тепла бесчисленные стаи уток, казарок, гусей.

Задолго до восхода солнца старший агроном Чернойской МТС Николай Стрельцов проснулся. Жалобно скрипели оконные ставни. В трубе тонко скулил ветер. Погромыхивал плохо прибитый лист железа на крыше.

Стрельцов долго лежал на спине, закинув руки за голову, бездумно глядя в сумеречную предрассветную синеву, вслушиваясь то в порывистые всплески ветра, бившегося о стену дома, то в ровное, по-детски тихое дыхание спавшей рядом жены.

Вскоре по крыше дробно застучали дождевые капли, ветер немного притих, и стало слышно, как по во-

досточному желобу с захлебывающимся бульканьем клокочет, журчит вода и мягко и тяжело падает на отсыревшую землю.

Сон не приходил. Стрельцов поднялся, тихо ступая босыми ногами по скрипящим половицам, прошел к столу, зажег лампу, присел выкурить папиросу. Из щелей между небрежно подогнанными половицами тянуло острым холодком. Стрельцов неловко поджал голенастые ноги, потом устроился поудобнее, прислушался: дождь шел не только не ослабевая, но все более усиливаясь.

«Хорошо-то как! Еще прибавится влаги», — довольно подумал Стрельцов и сейчас же решил поехать утром в поле, посмотреть озимые колхоза «Путь к коммунизму» да кстати заглянуть и на зябь.

Докурив папиросу, он оделся, обул короткие резиновые сапоги, накинул брезентовый плащ, но шапку никак не мог найти. Долго искал ее под вешалкой, в полуосвященной передней, за шкафом, под столом. В спальне, тихонько проходя мимо кровати, на минуту остановился. Ольга спала, повернувшись лицом к стене. По подушке беспорядочно разметались белокурые, с чуть приметной рыжинкой волосы. Ослепительно-белое плечико ночной рубашки, почти касаясь коричневой круглой родинки, глубоко врезалось в полное смугловатое плечо.

«Не слышит ни дождя, ни ветра... Спит так, как будто совесть у нее чище чистого», — подумал Стрельцов, с любовью и ненавистью глядя на затененный профиль жены.

Он постоял еще немного возле кровати, закрыв глаза, с глухой болью на сердце воскрешая в памяти несвязные и, быть может, не самые яркие воспоминания о недавнем счастливом прошлом и всем существом своим чувствуя, как медленно и неудержимо покидает его тихая радость, навеянная вот этим предрас-

светным дождем, бурным ветром, ломающим зимний застой, преддверием трудной и сладостной работы на колхозных полях...

Без шапки Стрельцов вышел на крыльцо. Но не так, как в былые годы, воспринял он теперь свист утиных крыльев в аспидном небе, и уже не с прежней силой охотничьей страсти взволновал его стонущий и влекущий в неведомую даль переклик гусиных стай. Что-то было отравлено в его сознании за тот короткий миг, когда смотрел в родное и в то же время отчужденное лицо жены. Иначе выглядело сейчас все, что окружало Стрельцова. Иным казался ему и весь необъятный, весь безбрежный мир, проснувшийся к новым свершениям жизни...

Дождь все усиливался. Косой, мелкий, спорый, он по-летнему щедро полил землю. Подставив открытую голову дождю и ветру, Стрельцов жадно шевелил ноздрями в тщетной надежде уловить пресный запах оттаившего чернозема, — находившаяся земля была бездыханна. И даже первый после зимы дождь — бездушный и бесцветный в предутренних сумерках — был лишен того еле приметного аромата, который так присущ весенним дождям. По крайней мере так казалось Стрельцову.

Он накинул на голову капюшон плаща, пошел к конюшне, чтобы подложить коню сена. Воронок зачужал хозяина еще издали, тихо заржал, нетерпеливо перебирая задними ногами, гулко стуча подковами по деревянному настилу пола.

В конюшне было тепло и сухо. Пахло далеким летом, степным улежавшимся сеном, конским потом. Стрельцов зажег фонарь, положил в ясли сена, сбросил с головы капюшон.

Коню было скучно одному в темной конюшне. Он нехотя понюхал сено, всхрапнул и потянулся к хозяину, осторожно прихватывая шелковистыми губами кожу на его щеке, но, ткнувшись нежным храпом на

жесткую щетину хозяйских усиков, недовольно фыркнул, жарко дохнул в лицо пережеванным сеном и, балуясь, стал жевать рукав плаща. Будучи в добром духе, Стрельцов всегда разговаривал с конем и охотно принимал его ласки. Но сейчас не то было у него настроение. Он грубо оттолкнул коня и пошел к выходу.

Еще не убедившись окончательно в дурном расположении хозяина, Воронок игриво повернулся, загордил крупом проход из станка. Неожиданно для самого себя Стрельцов с силой ударил кулаком по конской спине, хрипло крикнул:

— Разыгрался, черт бы тебя!..

Воронок вздрогнул всем телом, попятился, часто переступая ногами, пугливо прижался боком к стенке. Чувство стыда за свою неоправданную несдержанность шевельнулось в душе Стрельцова. Он снял висевший на гвозде фонарь, но не погасил его, а зачем-то поставил на пол, присел на лежавшее возле двери седло, закурил. Спустя немного сказал тихо:

— Ну, извини, брат, мало чего не бывает в жизни...

Воронок круто изогнул шею, вывернул фиолетово поблескивающее глазное яблоко, посмотрел на понуро сидевшего хозяина, потом стал лениво пережевывать хрупающее на зубах сено.

Грустно пахло на конюшне увядшими степными травами, по-осеннему шепелявил, падая на камышовую крышу, частый дождь, брезжил мутный, серый рассвет... Стрельцов долго сидел, уронив голову, тяжело опираясь локтями о колени. Ему не хотелось идти в дом, где спит жена, не хотелось видеть ее рассыпанные по подушке белокурые, слегка подвитые волосы и эту страшную знакомую круглую родинку на смуглом плече. Здесь, на конюшне, ему было, пожалуй, лучше, покойнее...

Он распахнул дверь, когда почти совсем уже рассвело. Грязные клочья тумана висели над обнаженными

ми тополями. В мутно-сизой мгле тонули постройки МТС и еле видневшийся вдаль хутор. Зябко вздрагивали под ветром опаленные морозами, беспомощно тонкие веточки белой акации. И вдруг в предрассветной тишине, исполненное неведомой печали, долетело из вышней, заоблачной синевы и коснулось земли журавлиное курлыкание.

У Стрельцова больно защемило сердце. Он проворно встал и долго, напрягая слух, прислушивался к замирающим голосам журавлиной стаи, потом глухо, как во сне, застонал и проговорил:

— Нет, больше не могу! Надо с Ольгой выяснить до конца... Больше не могу я! Нет моих сил больше!

Так безрадостно начался первый по-настоящему весенний день у раздавленного горем и ревностью Николая Стрельцова.

А в этот же день, поутру, когда взошло солнце, на суглинистом пригорке, неподалеку от дома, где жил Стрельцов, выбилось из земли первое перышко первой травинки. Острое бледно-зеленое жальце ее пронзило созревшую ткань невесты откуда занесенного осенью кленового листа и тотчас поникло под непомерной тяжестью свалившейся на него дождевой капли. Но вскоре южный ветер прошелся низом, влажным прахом рассыпался отживший свое кленовый лист, дрогнув, скатилась на землю капля, и тотчас, вся затрепетав, поднялась, выпрямилась травинка — одинокая, жалкая, неприметная на огромной земле, но упорно и жадно тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу.

Около скирды соломы, где почва еще не отошла от морозов, трактор «ЧТЗ» круто развернулся и, выбрасывая траками левой гусеницы ледяную стружку, перемешанную с жидкой грязью и соломой, ходко пошел к загону. Но в самом начале загона резко осел назад и, с каждым рывком все глубже погружаясь в черную засасывающую жижу, стал. Синий дым окутал корпус

трактора, витым полотнищем разостлался по бурой стерне. Мотор заработал на малых оборотах и заглох.

Тракторист шел к вагончику тракторной бригады, с трудом вытаскивая ноги из грязи, на ходу вытирая руки паклей, вполголоса бранясь.

— Я говорил тебе, Иван Степанович, что сегодня начинать не надо, — вот и засадили трактор. Черт его теперь вызволит! Будут копать до вечера, — раздраженно говорил Стрельцов, пощипывая черные усики, с нескрываемой досадой глядя на красное, налитое лицо директора МТС.

Директор только крикнул от огорчения, но ничего не ответил. Уже подходя к вагончику, он сбоку добродушно покосился на Стрельцова, сказал:

— А ты не расстраивайся. Нечего расстраиваться по пустякам. Не утонет твой трактор, и никакого лучшего с ним не делается! К вечеру вытянут его ребята, а через денек опять начнем пробовать. Спыток не убыток. Когда-нибудь надо же начинать, или будем пыли дожидаться? Ты на озимых был?

— Был дней пять назад.

— Ну как?

— Ничего, перезимовали. Внизу, около Голого Лога, частица замокла.

— Много?

— Нет, чепуха, так, поменьше двух гектаров, но подсеять придется. Сейчас опять проеду туда, посмотрю. А через день пробовать пахать ты и не думай, Иван Степанович! Знаю, ты человек упрямый, но от этого качества почва скорее не просыхает. Я на твоём месте перебростил бы два гусеничных в колхоз «Заря». Сам знаешь, почва там серопесчаная, пахать смело можно.

Директор испуганно замахал руками:

— А перегон? А пережог горючего? Об этом ты мне лучше не говори! Шутка дело, из-за каких-то двух дней гнать тракторы за двенадцать километров! Да ме-

ня за это на бюро райкома живьем скушают! Скажут, что не сумел вовремя расставить силы, недоучел, да мало ли чего еще там не наговорят на мою голову! Нет, о переброске я и слушать не хочу.

— Значит, по-твоему, пусть лучше тут тракторы простаивают?

Директор поморщился и молча махнул рукой, показывая, что считает разговор оконченным. Он вовсе не желал слушать новые доводы Стрельцова и ускори́л шаг, но Стрельцов поравнялся с ним, спросил:

— Что же ты отмалчиваешься? Молчание не аргумент в твою пользу.

— Все сказано, и давай в бригаде без диспутов.

— Хорошо. Перенесем диспут, как ты говоришь, в другое место.

— Это куда же, например?

— Ну, хотя бы в райком.

Добродушие редко покидало сангвинического директора. И на этот раз он гулко захохотал, хлопнув мясистой ладонью по плечу Стрельцова:

— Ох и горяч ты, агроном Никола! А на горячих знаешь куда ездят? То-то и оно! Попробуй стукни в райком, так тебе же первому там холку намылят, да еще я нажалуюсь, что ты подменяешь меня и вмешиваешься в мои административные функции. Каково?

Неисчерпаемое добродушие покладистого Ивана Степановича всегда раздражало вспыльчивого Стрельцова. Не принимая шутки, но уже значительно мягче, он сказал:

— Я не вмешиваюсь, а советую...

Но директор прервал его:

— Главное дело — не волнуйся. При твоей тощей комплекции для тебя волноваться вредно.

Однако, увидев, что Стрельцов нахмурился, он оставил шутливый тон и заговорил по-деловому:

— Черт его знает, может быть, ты и прав. Я подумаю, потолкую с бригадиром, и если уж так, если на

то дело пошло, то в ночь перекинем трактора в «Зарю». Там, безусловно, можно приступать к пахоте. Но мне-то думалось, что Романенко там сам управится. Надо ему звякнуть, узнать, приступил он к пахоте или все еще раскаивается. — И, обращаясь к подошедшему трактористу, укоризненно закачал головой: — Ах, Федор, Федор! Как же это ты, милок, ухитрился засадить трактор! А еще тоже в танкистах служил, был отличником боевой подготовки...

Тракторист Федор Белявин неспроста был прозван друзьями «Жуком Чернявиным»: сапоги, черные ватные брюки и такая же теплушка на широких плечах, черный треух с черным кожаным верхом, воронья челка, лихо свисающая из-под треуха, и смуглое лицо в неотмываемой копоти и мазуте — все оправдывало прочно прилипшую к нему кличку.

Насмешливо щурясь, сверкая синими белками глаз и белыми до синевы зубами, он ответил:

— По твоей милости засадил, Иван Степанович! Говорили тебе все мы — и бригадир, и агроном, и все трактористы, — что не пойдет трактор, так разве тебя переспоришь? В одну душу — пробуй, и все. А теперь вот и любуйся на него да помогай выручать. Силенки у тебя хватит. Ты сам с виду как «ЧТЗ». Откормился за зиму неплохо!

— Заплакал! — невозмутимо и слегка пренебрежительно сказал директор. — Вот уж ты и слезу пустил, а девчата считают тебя героем. Напрасно считают, так я думаю... Пойдем-ка глянем, как ты его загнал.

Они вдвоем направились к трактору. Туда же шел и бригадир еще с двумя трактористами. Стрельцов нехотя зашагал к вагончику, у которого был привязан Воронок. Ему не хотелось уезжать из бригады, где было свободней дышать, — на людях и в работе он легче переносил свалившееся на него горе, но посмотреть на озимые в окрестных колхозах было необходи-

мо, и он медленно шагал по примятой, жухлой траве, глядя себе под ноги и тщетно стараясь отогнать вновь вернувшиеся мысли о жене, об ее отношениях с учителем Овражним, обо всем том, что последнее время лежало у него на сердце, как постыдная и горькая тяжесть, ни днем ни ночью не шло с ума и мешало настоящему жить и работать.

— Оставайтесь завтракать с нами, товарищ Стрельцов! Такой кулеш сготовила, какого вам в жизни не доводилось кушать! — крикнула бригадная стряпуха Марфа, когда понурый, сгорбленный Стрельцов проходил мимо полевой кухоньки, сложенной неподалеку от вагончика заботливыми руками какого-то тракториста — умельца по печному делу.

Стрельцов благодарно кивнул ей головой, нехотя улыбнулся:

— Налей, что ли, Марфа, а то до вечера домой не попаду.

Он присел на нижнюю ступеньку вагончика, принял из рук стряпухи горячую миску с кашей и только тут вспомнил, что не ел со вчерашнего утра. Но, отхлебнув несколько ложек вкусной, слегка папахивающей дымком жидкой каши, поставил на землю миску и — в который раз за это утро — снова достал из старенького кожаного портсигара помятую папироску...

Был уже на исходе май, а в семье Стрельцовых все оставалось по-прежнему. Что-то непоправимо нарушилось в совместной жизни Ольги и Николая. Произошел как бы невидимый надлом в их отношениях, и постепенно они, эти отношения, приняли такие тяжкие, угнетающие формы, о которых супруги Стрельцовы еще полгода назад никак не могли бы даже и помыслить. День ото дня исчезала былая близость, надежно связывавшая их прежде, ушла в прошлое милая интимность вечерних супружеских разговоров, и уже

ни у одного из них не возникало желания поделиться своими тревогами и заботами, неприятностями и маленькими радостями по работе. Зато чаще, чем когда-либо, иногда даже по пустяковому поводу, вдруг вспыхивали ссоры и разгорались жарко, как сухой валежник на ветру, а когда наступало короткое примирение, оно не приносило облегчения и успокоенности. Недолгое затишье походило скорее на перемирие двух враждующих сторон и не снимало ни настороженности, ни скрытой, возникавшей откуда-то из потаенных глубин взаимной неприязни.

Еле ощутимый поначалу холодок в их отношениях все больше крепчал, становился пугающе привычным. Он входил в жизнь, превращался в неотъемлемую часть ее, и с этим уже ничего нельзя было поделать. У Николая иногда возникало такое, чисто физическое, ощущение, будто он длительное время живет в нетопленной комнате, постоянно испытывая непреходящее желание побыть на солнце, погреться...

Глядя на себя как бы со стороны, он замечал, что стал и на работе и дома несдержан, чрезмерно раздражителен; все чаще в общении с людьми овладевало им чувство нетерпимости, ничем не оправданной вспыльчивости. А ведь прежде таким он не был... Впрочем, подобные изменения наблюдал он и в характере Ольги. Все это способствовало возникновению случайных пререканий, неизбежно переходивших в ссоры.

С болью, с тоскливым выжиданием Николай чувствовал, как с каждым днем Ольга отдаляется от него, уходит все дальше, а он уже не в силах ни ласково окликнуть ее, ни вернуть. И вот это сознание собственного бессилия, невозможность что-либо изменить, томительное ожидание надвигающейся развязки и делало жизнь под одной крышей и непомерно тяжелой, и постылой.

Еще с весны Ольга под предлогом наступающих экзаменов проводила все свободное послеобеденное

время то в школе, то у подруг-учительниц. Ребенку она почти не уделяла внимания, целиком передав его на попечение бабушки. Николаю незачем было искать предлогов, чтобы возможно реже бывать дома: весновспашка, очистка семян, сев яровых, а затем пропашных культур, забота о парах, прополка хлебов — все это полностью поглощало его время. По утрам он со смешанным чувством облегчения и горечи покидал дом, возвращался только ночью, когда Ольга, проверив тетради, уже спала, и это обстоятельство в какой-то мере помогало уменьшению стычек. Однако, избегая друг друга, внутренне опасаясь оставаться наедине, они оттягивали решающий разговор и тем самым усугубляли взаимные мучения и неустроенность в семье.

Разрыв, как видно, в равной мере страшил и Ольгу, и Николая, и хотя неотвратимость его была ясна для них — никто не хотел первым брать на себя инициативу.

Как ни странно, но теща Николая с самого начала семейного конфликта стала на сторону зятя. Несколько раз Николай, почему-либо возвращаясь домой в неурочное время, еще издали, со двора слышал отголоски бурных сцен между Ольгой и Серафимой Петровной. Но как только он брался в сенях за дверную ручку — в доме все мгновенно смолкало. Теща, поджав губы, проходила мимо Николая, величественная и неприступная в своем материнском негодовании, а Ольга с заплаканными глазами старалась поскорее исчезнуть из дома и после долго отсутствовала, появлялась только в сумерках, чтобы не так заметно было ее опухшее и подурневшее от слез лицо.

А тут еще маленький Коля. Ребенок с прозорливостью взрослого сразу заметил наступивший между отцом и матерью разлад, но, не будучи в состоянии понять его причины, потянулся к бабушке: в ее комнатке, расположенной рядом с кухней, учил уроки, там же

и спал, решительно переселившийся из своей комнаты под предлогом того, что ночью один боится. Николай не раз во время обеда или завтрака ловил его короткие вопрошающие взгляды, а как-то ответить на них не было возможности. Не того возраста был маленький пытливый человечек...

Ольга встречалась с Юрием Овражным не только в школе. Николай догадывался об этом, но заставить себя следить за женой не мог, не мог ни при каких условиях. Это было выше его сил. И тогда, когда она задерживалась допоздна в школе или у подруг, — он не выходил со двора, молча сидел в темноте на крыльце, курил, ждал. За калиткой звучали стремительные шаги Ольги. Он сумел бы различить их среди тысячи женских шагов, он знал на память эту летучую, быструю поступь. И всегда, заслышав знакомый перестук каблучков, испытывал легкое удушье и словно бы замедленное биение сердца. Ольга молча проходила мимо, опавнув его запахом свежего платья, теплой вечерней пыли, а он слегка отодвигал в сторону голенастые ноги, пропускал ее и шел следом на кухню. Там они молча ужинали, изредка перебрасываясь незначательными фразами, расходились спать. Утром все начиналось снова.

За всю весну Николай встретился с Овражным только раз — случайно, на улице. Он ехал верхом на Воронке в поле. Овражный шел ему навстречу к лавке сельпо. На улице стояли лужи, ветерок гнал по ним мелкую ребристую рябь. Вода в лужах нестерпимо блестя под солнцем, нагретый воздух был щедро напитан пресным запахом талого снега, влажного чернозема. Конь разбивал копытами воду, с всплеском летели по сторонам брызги, радужно вспыхивая на солнце; смачно чавкала и выворачивалась из-под конских бабок мазутно-черными комками грязь. Вразнойбой голосили петухи, где-то в ближнем дворе истомно кудах-

тала курица, и, пробуя силы, пел в сизой дымчатой синеве косо снижавшийся на сырую землю выгона первый жаворонок. Такая умиротворенная благодать стояла над Сухим Логом, что Николай забыл обо всем на свете, покачиваясь в седле в такт лошадиному шагу, опустив поводья, всем существом своим бездумно радуясь и прохладному ветерку, и солнцу, ненадолго скрывавшемуся за облаками, похожими на прозрачные хлопья тумана, и несмелым певческим пробам жаворонка.

А тут, увидев невдалеке осторожно пробиравшегося возле плетня, оскользавшегося по грязи Овражного, вдруг мгновенно почувствовал жестокую спазму подступившего к горлу удушья. Мир стал странно немым, начисто лишился звуков. Николай видел только приближавшегося Овражного. Видел всего с головы до ног: красивое, смугло-румяное, круглое лицо с черной полоской усов, смоляную челку, выбившуюся из-под примятого поля серой мягкой шляпы, нарядный, красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накинутый на широкие ладные плечи; видел разъезжавшиеся по грязи ноги в черных стареньких брюках и заляпанных грязью коротких резиновых сапогах. Таким Юрий Овражный и сохранился в памяти Стрельцова на всю жизнь, как мгновенно выхваченный кадр из цветного фильма. А в тот момент Николай неотрывно и жадно всматривался в лицо человека, разрушившего его жизнь, ставшего смертным врагом. Поравнявшись, Овражный весело блеснул зубами:

— Доброе утро, Николай Семенович! Ну и грязищу развело! А еще называется это божье место Сухой Лог.

Николай хотел ответить на приветствие, но в горле у него как-то тихо и хрипло забулькало. Он сделал судорожное глотательное движение, однако так и не смог ничего сказать. А когда поднимал к козырьку правую руку, то плеть повисла на ней, будто пудовая гиря...

Проехав шагов десять, Николай оперся левой рукой о подушку седла, оглянулся. Овражный смотрел на него, придерживаясь за колышек плетня, и на резко очерченных губах его бродила неясная улыбка.

До поворота в переулочек Николай ехал шагом и снова слышал и довольное пофыркивание Воронка, и неустанно воспевавшего весну жаворонка. Мир снова обрел звуки, запахи, живое дыхание... За поворотом Николай пустил Воронка крупной рысью, от хутора перевел его в намет и придержал только километра через полтора, в степи. И всадник, и конь, остановившись, разом тяжело вздохнули.

«А ведь я мог его убить. Всего несколько минут назад. Вот так спешился бы, подошел вплотную, протянул руку и вместо рукопожатия схватил за горло. А через мгновение он уже лежал бы в грязи подо мною. И кто бы его отнял у меня? Кто вырвал из моих рук? На улице — никого. Пока спохватились бы люди... Я сильнее, намного сильнее его.левой рукой прижал бы правую руку к земле, и все, конец! А потом?..»

Не в меру услужливая память тотчас же на короткое мгновение подсказала, как он лет двадцать назад, еще будучи в институте, на вечеринке у однокурсницы едва не задушил оскорбившего его товарища. Тогда он разжал руки уже в беспамятстве, только после того, как сзади нанесли ему сильнейший удар по голове увесистой табуреткой... И вновь встало перед глазами красивое лицо Овражного, его неуверенная блуждающая улыбка...

Николай ощутил легкую тошноту, стянул с головы фуражку. Руки его стали влажными от пота.

С той поры он старательно избегал встреч с Овражным. Не надо было искушать судьбу. Нельзя было играть чужой и своей жизнью...

А неопределенность в семье словно бы прижилась и пустила корни. И только в первых числах июня не-

веселую эту жизнь встряхнула неожиданно полученная из Кисловодска телеграмма от старшего брата Николая. Ее вручили Стрельцову в конторе МТС утром. «Второго поездом двадцать два вагон семь буду станции встречай обнимаю Александр».

Не в силах сдержать радостной улыбки, Стрельцов несколько торопливее, чем обычно, вошел в кабинет директора, тихонько положил на стол телеграмму:

— Жду гостя, Иван Степаныч!

Из-под очков в металлической оправе директор удивленно взглянул на Николая:

— Неужели братец едет?

— Он самый.

— Так ведь у него же путевка вроде до половины июня?

Всё так же улыбаясь, Николай развел руками:

— Похоже, что не выдержал режима, удрал до срока. Там в новину не очень-то приятно; а он, насколько я помню, на курорте впервые. Он всегда предпочитал вольный отдых, охоту, рыбалку.

Директор ещё раз прочитал телеграмму, сунул очки в грудной карман старенького парусинового пиджака, удовлетворенно сказал:

— Ну что же, молодец твой брат, Микола. Он правильно рассудил. У нас он и отдохнет лучше, и сердце тишиной подлечит. На нашем степном полынном воздухе, я так разумею, не только сердце, но и всякую другую хворость с успехом можно лечить. Где-то я читал, что даже граф Толстой к башкирам ездил, воздухом лечился и кумыс пил. Ну насчет кумыса это ещё как сказать... Пил я его в Гражданскую войну у калмыков и так определил: решительно от него никакой пользы русскому человеку не может быть! Одна отрыжка в нос и в животе бурчание, а пользы ни на грош! Пил я из любопытства и парное кобылье молоко. Ты никогда не пробовал, Микола? Нет? И не пробуй. Голубенькая

водичка, чуть сладит, пены много, а пользы от него или сытости тоже ничего не заметил, да и заметить невозможно, потому что ее нет. — Помолчал немного и для вящей убедительности добавил: — Конечно, одним воздухом, даже нашим, не прокормишься, но у нас вдобавок к воздуху не паршивый кумыс, а природное коровье молоко, неснятое, пятипроцентной жирности, яйца тепленькие, прямо из-под курицы, а не какие-нибудь подсохлые, плюс сало в четверть толщины, ну разные там вареники со сметаной, молодая баранина и прочее, да тут никакое сердце не выдержит и постепенно придет в норму. А если к этому добавить добрый борщ да по чарке перед обедом, то жить твоему братцу у нас до ста лет и перед смертью не икать! Правильное решение он принял — ехать к нам! Исключительно правильное!

Столько детски наивной, простодушной убежденности было в словах пышущего здоровьем степняка, что Николай, уже откровенно посмеиваясь, сказал:

— Я тоже так думаю, Степаныч, а как насчет машины?

— Какой может быть разговор, бери ее утром и ка-ти на станцию встречать.

— Тебе-то самому она не понадобится?

— Я и на лошадях съезжу в случае чего, а ты бери машину. Братец-то генерал, да еще пострадавший, неудобно кое-как встречать. Скажи шоферу, пусть готовится, и езжай пораньше. Вези аккуратней, не растрясси по нашим кочковатым дорогам, человек-то большой.

— Спасибо, Степаныч!

— Еще чего недоставало. С радостью тебя, Никола!

— Еще раз спасибо. Радость действительно для меня большая. Девять лет не виделись.

Директор встал из-за стола:

— Я — в мастерскую, а у тебя какие планы?
— Надо предупредить своих, подготовиться к встрече. Разреши сегодня побыть дома.

— Само собой. Может, чем-нибудь помочь?

— Благодарю, все есть, управлюсь сам.

Потоптавшись около стола, директор подошел к Николаю вплотную, спросил почему-то шепотом:

— Он сколько просидел, Микола?

— Без малого четыре с половиной года.

Иван Степанович горестно сморщился. Потом решительно прошагал к двери, закрыл ее на ключ, жестом пригласил Стрельцова садиться, а сам так тяжело опустился на древнее, дореволюционного изделия креслице, что оно не заскрипело, а жалобно взвыло под ним. После недолгого молчания спросил:

— Как думаешь, почему брата освободили?

Стрельцов молча пожал плечами. Вопрос застал его врасплох.

— Ну все-таки, как ты соображаешь?

— Наверное, установили в конце концов, что осудили напрасно, вот и освободили.

— Ты так думаешь?

— А как же иначе думать, Степаныч?

— А я так своим простым умом прикидываю: у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться.

— Ну, знаешь ли... Что же, он с закрытыми глазами страной правит?

— Похоже на то. Не все время, а с тридцать седьмого года.

— Степаныч! Побойся ты Бога! Что мы с тобою видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин пять лет жил слепой и вдруг прозрел?

— Бывает и такое в жизни...

— Я в чудеса не верю.

— Я тоже в них не верю, но как-то надо нам объяснить этот случай с твоим братом? Раскрутил же товарищ Сталин Ежова? А почему ты знаешь, может, он и Берию начинает помаленьку раскручивать?

— Пойдем, я провожу тебя до мастерской. Не люблю по-твоему разговаривать: то ты шепчешь, то переходишь на крик... Давай по пути в мастерскую кончим наш разговор.

— Плохой из меня конспиратор?

— Ни к черту! Нервный ты очень.

Директор, кряхтя, держась за поясницу, с трудом поднялся. К двери он шел слегка прихрамывая, негодуяще бормоча:

— Наука гласит, что радикулит от простуды. Чепуха, а не наука! Тоже мне медики! Я вот как разволнуюсь, так он, этот треклятый радикулит, сразу в поясницу возле креста вступает. Хоть стой, хоть падай. У меня на медицину свой взгляд, и пусть они мне голову не морочат. А сидел я через эти треклятые нервы, через заразу-радикулит. У меня все это имущество еще с Гражданской войны развинтилось...

Они молча прошагали безлюдным коридором, через черный ход вышли на пустынный хозяйственный двор. По просторному двору, огороженному посереvшим штакетником, по раздавленной гусеницами тракторов присохшей траве потерянно бродил ветер. Он все время менял направление: то тихо веял с запада, то заходил с юга и тогда становился почему-то напористее, сильнее. С утра было прохладно. По блекло-синему небу одна-одинешенька плыла своим путем белая, как кипень, тучка. Из широко распахнутых ворот мастерской доносился шумок токарного станка. В кузнице стоял певучий перезвон молотков, поддержанный астматическим дыханием меха, и тут же, за штакетником, в густой заросли дикой конопли, словно подлаживаясь к звону молотков, яростно, неустанно бил перепел.

Посреди двора, возле колодца, Иван Степанович остановился. Они, не сговариваясь, присели на низкий колодезный сруб.

— Думаю, — сказал Иван Степанович, — что и твой братец будет людей избегать, но это и у него пройдет, утрясется.

— Александр — общительный парень. Во всяком случае, был таким, — раздумчиво проговорил Стрельцов.

— В том-то и дело, «был». А вот каким стал? И это увидим. Все дело в том — одного ли его выпустили? Уж он-то наверняка знает. Вот почему, Микола, приезд твоего брата и для меня праздник. Может, следом за ним и другие, кто зазря страдает, на волю выйдут, а? Что ты на этот счет думаешь, Микола?

— Я бы хотел знать, а не строить догадки...

— Вот именно, знать. Не может же быть, чтобы одного его выпустили.

— А почему бы и нет? Возможно, и одного. Степаныч, подождем приезда Александра. Ничего мы с тобой не знаем, и нечего нам впустую гадать.

Иван Степанович по-женски всплеснул куцыми сильными руками:

— Как это нечего? Да у меня, пока я твоего братца дождусь, голова от думок треснет! У меня вот уже сию минуту начинают нервы расшатываться и радикулит стреляет в поясницу. Еще неизвестно, как я с этого сруба встану, может, на карачках придется до мастерской ползти... Ты, как только отдохнет брат, сразу разузнай у него, что и как. Он в Москве был, он должен знать, что там, в верхах, думают. Походи возле него на цыпочках, остороженько, с подходцем, а все как есть разузнай и выведай.

Стрельцов просительно сказал:

— Не сразу. Дай ему отдышаться. Понимаешь, Степаныч, ему больно будет обо всем этом говорить. Тут нужен такт, осторожность нужна...

— Ну, брат, ты меня убил с ходу! «Такт, осторожность, ему больно будет...» А мне и другим не больно пять лет правды не знать? Братец ты мой, Микола!

— Все это понятно!

— Ничего тебе не понятно! Ты меня весной как-то на собрании принародно попрекнул, что вот, мол, Иван Степанович трусоват, он, мол, робкого десятка, и пережога горячего боится, и начальства побаивается, и все-го-то он опасается... Может, ты и прав: трусоват стал за последние годы. А в восемнадцатом году не трусил принимать бой с белыми, имея в магазинной коробке винта одну-единственную обойму патронов! Не робел на деникинских добровольческих офицеров в атаку ходить. Ничего не боялся в тех святых для сердца годах! А теперь пережога горячего боюсь, этого лодыря Ваньку-слесаря праведно обматить боюсь, перед начальством трепетаю... Пугливый стал! Это одесская шпана сделала смешными наши слова «За что боролись?». Я знаю, за что я боролся! Встречусь я с твоим братом, так я с ним не о природе и не о наших задачах по сельскому хозяйству буду говорить. Никаких тактов мне не надо, будь они трижды прокляты, мне надо знать, что в Москве происходит, что там, в верхах, думают и чем дышат. Неужели в войну с фашистами влезем, а до этого в своем доме порядка не наведем? Но ты сам оглядись возле братана, а мне потом подскажешь. Тебе, конечно, с родственного бугра виднее.

Иван Степанович со сдержанным рычанием поднялся, долго тер кулаком поясницу, на прощание сказал:

— Разволновался я с тобой окончательно, раскачал нервишки, а теперь этот треклятый радикулит меня прижмет по всем правилам военного искусства. Ехать надо в колхоз имени Берия, а как я поеду? Стыдно, но придется у жены какую-нибудь заваливающую подушку просить, под сахарницу подкладывать, иначе не усую

на дрожках. — И тяжело вздохнул: — А ведь воякой был, да еще каким лихим, голыми руками меня не бери, обожгешься! Господи боже мой, и на что этот колхоз именем Берия назвали? Ну кому это нужно и какой тихий дурень это название придумал? Главное, для чего? Нервы расшатывать тем, кто ни за что ни про что в его хозяйство попадал? И колхоз хороший, и люди там добрые трудяги, а едешь туда, и от одного названия тебя мутить начинает хуже, чем с похмелья... Мастера мы всякие крендели выкручивать, ох, мастера, язви его в печенку! Ну, я пошел, Микола! Жду от тебя весточки.

Николай Стрельцов приехал на станцию за час до прихода поезда. Было около девяти утра. Недавно прошел легкий дождь, и на путях пахло не так, как обычно: не только дымом от паровозных топок, мазутом и размытым угольным шлаком, но и каким-то домашним, земным запахом прибитой дождем пыли, смоченной травы, а от сложенных возле красного пакгауза огромных штабелей свежих досок так головокружительно нанесло вдруг сосной, смолистым духом подпаренной древесины, что Николаю на миг почудилось, будто идет он по сосновому бору в знойный полдень, а шипение маневрового паровоза зазвучало, как шум вековых мачтовых сосен. Николай на минуту остановился и даже глаза закрыл, с наслаждением вдыхая запах сосны, тихо улыбаясь далекому детству, неотвязным воспоминаниям. Ведь как-никак, а родился он и до восьми лет прожил на лесном кордоне в далекой Вологодской губернии. И вот оказывается, что даже четверть века, долгие годы жизни на степных просторах юга России не могли выветрить цепкой привязанности к аромату леса, к бодрящему и милому запаху сосны... «Странно устроен человек», — подумал Николай, взбираясь на платформу и еще раз оглядываясь на бледно-золотые штабеля досок по ту сторону

путей. Сейчас на них светило выглянувшее из-за туч солнце, и верхние, потемневшие от непогоды, шероховатые доски курились легким паром, источая устойчивый, далеко расплывающийся запах смолы, уютный запах будущих хозяйственных построек, оседлой жизни.

Накануне вечером Николай, постучавшись, зашел к Ольге в спальню. Она убирала волосы перед сном, стояла спиной к двери. Николай как-то сразу увидел ее слегка похудевшую шею, резко затененные трогательные впадины возле крохотных ушей. Тщетно стараясь подавить непрощеное чувство жалости, он очень тихо сказал:

— Я хочу просить тебя, Ольга, об одном: приедет Александр, и ты сделай все, чтобы он не заметил... не заметил, что между нами...

Она стремительно повернулась к нему лицом. Страдальческая улыбка тронула ее губы. Снизу вверх она испуганно взглянула на Николая, прошептала:

— Я постараюсь, Коля, вот как только ты... сумеешь ли ты сдержаться?

Николай кивнул головой, вышел, тихо притворил за собой дверь.

А теперь он ходил по безлюдной платформе, курил, вспоминал вчерашний разговор с женой, ее вымученную, жалкую улыбку и, стискивая зубы, чувствовал, как сердце его разрывается от жалости к прежней Ольге, от огромной человеческой боли.

С тяжким, давящим грохотом прошел товарный состав, влекомый паровозом ФД. На платформе долго еще стоял маслянистый жар, оставленный мощным телом паровоза. Потом показался скорый.

На этой маленькой станции сошло всего лишь несколько пассажиров.

Николай торопливо шел от конца платформы. Возле седьмого вагона стоял человек среднего роста, с

широкими прямыми плечами. Он высоко поднял над головой темную фетровую шляпу. Худое, бледное лицо его морщинилось улыбкой, и, как кусочки первого ноябрьского льда, сияли из-под белесых бровей яркосиние выпуклые влажные глаза.

Николай шел размашистым шагом, а потом не выдержал и побежал, как мальчишка, широко раскинув для объятия руки.

С приходом гостя за каких-нибудь два дня круто изменилась жизнь в семье Стрельцовых. Ольга заметно оживилась, повеселела, почти не выходила из дому, с прежним рвением помогая Серафиме Петровне встряпне и других хозяйственных хлопотах. Даже к маленькому Коле вернулась временно утраченная детскость: два дня он не отходил от дяди Саши, неотступно сопровождая его в прогулках по Сухому Логу, по вечерам не ложился спать до тех пор, пока не выслушивал очередной, приспособленный к его восприятию рассказ бывшего дяди Саши о Гражданской войне, слушал, не сводя зачарованных глаз с лица рассказчика, а потом долго лежал в кровати, с широко раскрытыми глазами и счастливой мечтательной улыбкой. На вторую ночь перед сном он забрался в кровать к Серафиме Петровне, жарко зашептал ей на ухо:

— Бабуля, дядя Саша, между прочим, говорил сего дня, что полководец Жлоба был рябой. Разве настоящий полководец может быть рябой?

От природы смешливая, всегда готовая на улыбку, Серафима Петровна затряслась от сдерживаемого смеха.

— Ох, Коленька! Ну почему же не может? Рябыми все могут быть, никому не заказано.

— А я думал, что рябые только разбойники бывают, — разочарованно протянул Коля и побрел к своей кроватке, осмысливая новое для него открытие в жизни.

Через минуту он обиженно проговорил:

— И нечего смеяться, и не трясись, пожалуйста, под своим одеялом. Ты койку трясешь, а я уснуть не могу. Ты вздорная женщина!

— О господи! Это еще откуда ты взял? — задыхаясь, спросила Серафима Петровна.

— Мы вчера шли с дядей Сашей в мастерскую, а какая-то женщина ругала соседку неприличными словами. Дядя Саша мне сказал: «Не слушай ее, она вздорная женщина». Вот и ты такая же вздорная.

— Но ведь я же не ругаюсь, Коленька?

— Зато смеешься ночью, когда никто не смеется, и заснуть мне не даешь. Вздорная ты, бабуля! — И уже полусонным голосом продолжал, медленно и вяло выговаривая слова: — А рябые — все разбойники, я точно знаю. Вот дядя Василий, плотник, ты знаешь, он тоже рябой. Я у него спросил, когда он в школе забор чинил: «Дядя Вася, вы, когда были молодым, вы были разбойником?» Он говорит: «Еще каким! Особенно по женской части». Я у него спросил: «Это как „по женской части“?» А он говорит: «Женские монастыри грабил, монашек разорял». И больше ничего не сказал, только усы разглаживал и смеялся глазами, потом набрал в рот гвоздей и совсем перестал со мной разговаривать, начал доски прибивать. За два раза гвоздь по самую шляпку забивал, вот как! Он хотя и был разбойником, но хороший дядька. Он всегда глазами смеется и никогда не ругается, как ты говоришь, черным словом. Он один раз при мне очень сильно прибил палец молотком и только сказал: «Ах, мать твою бог любит!» Бабуля, это приличное ругательство или неприличное? Ты слышишь, бабуля, или ты спишь?

Серафима Петровна, не отвечая, молча уткнулась лицом в подушку, а когда вволю насмеялась — мальчик уже тихо посапывал во сне.

Событием огромной важности для него стала поездка на автомашине в районный центр, куда дядя

Саша ездил, чтобы стать на партийный учет в райкоме партии. Там, в райцентре, они на равных закусывали в столовой, причем если дядя и шофер выпили только по одной рюмке водки, то на долю маленького Коли пришлась целая бутылка лимонада, напитка, о котором в Сухом Логу никогда и слыхом не слыхали.

Из поездки они вернулись закадычными друзьями. Мальчишеская любовь и привязанность были без особых стараний надежно завоеваны добродушным и веселым дядей. И когда за ужином Коля сказал: «Я думаю, дядя Саша, переселиться от бабушки к тебе. Ты все-таки мужчина, мне с тобой, пожалуй, будет удобнее спать», Ольга вспыхнула, в ужасе воскликнула: «Коля! Да как же ты смеешь обращаться к дяде на „ты“? Сейчас же извинись, негодный мальчишка!» Но Александр Михайлович немедленно пришел на выручку своему другу: «Что вы, Олечка, мы перешли с ним на „ты“ по обоюдному согласию. Нам в постоянном общении так проще».

Ничего не скажешь, умел старый солдат — общительный и простой — подобрать ключик к каждому сердцу: Ольгу он покорил вежливой предупредительностью, немудреными комплиментами и плохо скрытым восхищением ее красотой. Она отлично видела, как он втайне любит ее, и тихонько гордилась и даже немного кокетничала с ним, так, самую малость, в пределах родственных отношений. Серафима Петровна, сраженная простотою и офицерской услужливостью гостя, была прямо-таки потрясена, когда он обнаружил в передней под вешалкой ее разорванную туфлю и так искусно зашил, что впору бы и самому хорошему мастеру обувного цеха. Для этого маленький Коля раздобыл у соседа-сапожника шило и тонкую дратву, а починку они произвели, скрываясь ото всех на конюшне.

Николай только улыбался про себя, глядя на то, как брат преуспевает и с диковинной быстротой становится в доме своим человеком.

— Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству? — спросил он, разглядывая тещину туфлю.

— В лагере, — коротко ответил Александр. — В Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без добра, браток! Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях...

В комнату вошла Серафима Петровна, и разговор прервался.

* * *

В субботу рано утром Александр Михайлович и маленький Коля ушли на речку с удочками. Через два часа они вернулись, торжествующие, гордые успехом, потребовали у Серафимы Петровны большую эмалированную чашку и молча, с истинно рыбацким достоинством высыпали из садка груды живых, трепещущих пескарей.

— Любезная Серафима Петровна! Здесь этих милых рыбок ровным счетом шестьдесят три штуки. Если их почистить, зажарить на сковороде на коровьем топленом масле, чтобы они поджарились до хруста, а затем залить их десятком яиц, то лучше завтрака не придумаешь! Это мечта всех порядочных рыбацких любителей! — сказал Александр Михайлович.

В конце завтрака, когда маленький Коля незаметно улизнул из-за стола, Александр Михайлович долго смотрел на Серафиму Петровну смеющимися глазами, постукивал по столу пальцами, озорно улыбался.

— Чему это вы, Александр Михайлович, посмеиваетесь? — невольно краснея, спросила Серафима Петровна.

— Я не посмеиваюсь, а просто счастливо и, может быть, немножко глупо улыбаюсь, глядя на вас. И думаю: до чего же вы смолоду были, очевидно, победи-

тельной женщиной! На вас и сейчас-то не налюбуеться, а что же было лет двадцать назад? Мужчины, наверное, падали навзничь?

— Смолоду и вы, Александр Михайлович, были, наверное, хват-парень...

— Не пришлось, матушка, побыть хватом, не успел, война все скушала!

— Так уж и все?

— Вчистую! Помилуйте, двадцати лет пошел в царскую армию, четыре года Мировой войны, потом — Гражданская война, потом всякие банды и бандочки, потом женился. Когда же мне было проявлять свою прыть? Вот вы — другое дело. Вы рано овдовели...

— Двадцати одного года.

— В двадцать один год и вольная казачка!

— Хороша вольная! А двое малых детей на руках осталось, это как? Какая уж там вольная! Скорее подневольная.

— В каком году вы овдовели?

— В восемнадцатом.

— Боже мой, как же я вас не встретил в те баснословные года? А ведь я с полком проходил через ваш Мариуполь.

— Значит, не судьба, — притворно вздохнула Серафима Петровна. И молодо рассмеялась. — А если бы и встретили, что толку?

Александр Михайлович в наигранном удивлении поднял белесые брови:

— Как это, что толку? Встретил бы и покорил.

— Так уж и покорили бы?

— Как Бог свят! Накинул бы на вас бурку, сказал «моя!» — и баста!

— Самонадеянностью вас Бог не обидел, а ведь я тогда проворная была, так бы из-под вашей бурки и выскользнула!

— Извините, Серафима Петровна, не так бы я ее накнул, чтобы вы соизволили выскользнуть. Ведь

тогда я был огонь-парень. Это теперь головешкой от костра стал... Представьте на минутку двадцатичетырехлетнего командира полка: сапоги с маленькими офицерскими шпорами, с малиновым звоном, красные суконные галифе, кожаная куртка, слева — шашка с серебряным темляком, справа, наперекрест, — маузер на ремне, в деревянной колодке, папаха слегка заломлена, в глазах — синий пламень... Блеск! Неотразимость! И никакой пощады прекрасному полу! Пройдешься по улице таким чертом в кавалерийскую развалочку, и встречные барышни — глазки долу, из боязни опалить их, и только нежные вздохи несутся тебе вслед... А некоторые того...

— Что это означает «того»? — Серафима Петровна, облокотившись о стол, смотрела на собеседника мокрыми от смеха глазами, полные румяные губы ее дрожали в неудержимой улыбке.

— То есть как это «что означает»? Полуобморочное состояние, вот что! А в отдельных, особенно тяжелых случаях шок, ни больше и ни меньше. Мы в то время шутить не умели, дорогая Серафима Петровна! Я вот и теперь иногда встречаю женщин моего возраста и моложе с невыплаканной печалью во взоре и невольно думаю: «Вот и еще одна жертва Гражданской войны и собственной неосторожности. В молодости посмотрела пристально, чересчур пристально на такого молодца, каким, скажем, был я, и, пожалуй, готова, — сердце разбито навеки и вдребезги!» Все это даром для вашего брата — женщин не проходит, нет, не проходит. Так как же вы смогли бы уцелеть, если бы встретились тогда со мною?!

— Хотя я и неверующая, но думаю, что не иначе святая Варвара — покровительница слабых женщин — уберегла меня. Не встретила же, вот и уцелела!

— И зачем этой Варваре нужно было путаться в наши дела? Кто ее просил? Ох уж эти мне женщи-

СОДЕРЖАНИЕ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ. <i>Главы из романа</i> . . .	5
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА	259
НАУКА НЕНАВИСТИ	301
ОЧЕРКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ	
На Дону	325
Военнопленные	330
На Юге	337
Слово о родине	344
Победа, какой не знала история.	348

Шолохов М.

Ш 78 Судьба человека : главы из романа, рассказы, очерки / Михаил Шолохов. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. — 352 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-09472-7

Михаил Александрович Шолохов — один из самых выдающихся писателей русской советской литературы, лауреат Нобелевской премии, автор романов «Тихий Дон» и «Поднятая целина». В настоящее издание вошли произведения автора, посвященные Великой Отечественной войне: «Они сражались за Родину», «Судьба человека», «Наука о ненависти», «Очерки военных лет» — возможно, наиболее пронзительные, яркие, трагичные и вместе с тем жизнеутверждающие тексты, созданные на тему войны не только в отечественной, но и в мировой литературе.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Ирины Габовой
Корректоры Елена Шнитникова, Наталья Хуторная
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 03.12.2018. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 15,51. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93
www.oaompk.ru, www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685



ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах
на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-VAK-17496-08-R